

*Посвящается моему отцу*

Матушка не сказала мне, что они придут. Потом объяснила: она не хотела, чтобы я заранее нервничала. Это меня удивило — я-то думала, она хорошо меня знает. Посторонние никогда не замечают, что я нервничаю. Я никогда не плачу. Только матушка заметит, что у меня напряглись скулы и расширились и без того большие глаза.

Я резала на кухне овощи, когда услышала на пороге голоса: женский, блестящий, как отполированная дверная ручка, и мужской, низкий и темный, как стол, за которым я работала. Такие голоса редко звучали в нашем доме. Они наводили на мысль о богатых коврах, книгах, драгоценностях и мехах.

И я порадовалась, что утром как следует вымыла крыльцо.

Потом из комнаты раздался матушкин голос — он наводил на мысль лишь о кастрюлях и сковородках. Они идут на кухню. Я отодвинула накрошенный сельдерей, положила нож на стол, вытерла о фартук руки и сжала губы.

В дверях появилась матушка, остерегая меня взглядом, за ней появилась женщина, которой пришлось наклонить голову, чтобы не удариться о притолоку, — она была очень высокая, выше следовавшего за ней мужчины.

У нас в семье все низкорослые, даже отец и брат.

У женщины был такой вид, словно на улице сильный ветер, хотя на самом деле день выдался тихий. Ее шляпка съехала набок, и на лоб выбивались белокурые локоны, которые она несколько раз нетерпеливо откинула рукой, словно отгоняя пчел. Ее воротник тоже сидел косо и к тому же был не первой свежести. Она скинула с плеч серую накидку, и я увидела, что под синим платьем сильно выдается живот. Скоро — может быть, до конца года — у нее будет ребенок.

Лицо женщины напоминало небольшой овальный поднос, который то тускнел, то отливал серебром. Карие глаза — редкость у блондинок — поблескивали, как коричневые пуговицы. Она делала вид, что внимательно меня разглядывает, но поминутно отвлекалась и рыскала глазами по комнате.

— Значит, это и есть та девушка, — отрывисто сказала она.

— Это моя дочь Грета, — ответила матушка.

Я почтительно поклонилась гостям.

— Что-то она росточком не вышла. Она сможет делать тяжелую работу?

Женщина резко повернулась к мужчине и зацепила краем накладки нож, который лежал на столе. Нож упал на пол и завертелся волчком.

Женщина вскрикнула.

— Катарина, — спокойно сказал мужчина. Он произнес ее имя так, что от него словно пахло корицей.

Женщина сделала усилие и овладела собой.

Я шагнула вперед, подняла нож, вытерла его краем фартука и положила обратно на стол. Нож задел нарезанные овощи. Я подвинула кусочек морковки на место.

Мужчина наблюдал за мной серыми, как море, глазами. У него было продолговатое, резко очерченное лицо, его выражение было ровным и спокойным — в отличие от жены, у которой оно металось, как пламя свечи на сквозняке. У мужчины не было ни бороды, ни усов, и это мне понравилось: я люблю чисто выбритые лица. На плечах у него был темный плащ, из-под него виднелась белая рубашка с воротником из дорогого кружева. Шляпа плотно сидела на волосах цвета омытого дождем кирпича.

— Что ты делала, Грета? — спросил он.

Меня удивил его вопрос, но я не подала виду.

— Резала овощи для супа, сударь.

Я всегда выкладывала кучки нарезанных овощей кольцом, словно слои в пироге. Всего было пять кучек — красная капуста, лук, сель-

дерей, морковь и репа. Я подровняла ножом край кольца и положила в центр кружочек моркови.

Мужчина постучал пальцем по столу.

— Они выложены в той последовательности, как пойдут в суп? — спросил он, разглядывая мой круг.

Я помедлила, не зная, как объяснить порядок овощей. Я просто выкладывала их так, как мне казалось правильным, но не посмела растолковывать это богатому господину.

— Я вижу, что две белые кучки лежат отдельно друг от друга, — сказал он, показывая на репу и лук. — А оранжевый и лиловый цвета плохо сочетаются. Как ты думаешь — почему?

Он взял пальцами кусочек моркови и полоску капусты и потряс их в сложенных ладонях, как игральные кости.

Я взглянула на матушку, которая незаметно мне кивнула.

— Эти два цвета режут глаз, когда они рядом, сударь.

Мужчина поднял брови. Казалось, он не ожидал такого ответа.

— И много у тебя уходит времени на то, чтобы выложить овощи, прежде чем бросить их в суп?

— О нет, сударь! — воскликнула я, опасаясь, что он решит, будто я придумываю себе развлечения, вместо того чтобы работать.

Уголком глаза я заметила какое-то движение. Моя сестра Агнеса выглянула из-за двери и покачала головой, услышав мои слова. Она знала, что мне несвойственно лгать. Я опустила глаза.

Мужчина повернул голову, и Агнеса исчезла. Он положил назад кусочки моркови и капусты. Полоска капусты зацепила кружок лука. Мне хотелось протянуть руку и отодвинуть ее на место. Я этого не сделала, но он знал, что мне этого хочется. Он меня испытывал.

— Ну, хватит попусту болтать, — объявила женщина. Хотя сердилась она на него — за то, что он уделил мне слишком много внимания, — ее хмурый взгляд был направлен на меня. — Значит, с завтрашнего дня.

Она метнула взгляд на мужчину, резко повернулась и вышла из кухни. Матушка поспешила за ней. Мужчина еще раз поглядел на то, что должно было превратиться в суп, кивнул мне и последовал за ними.

Когда матушка вернулась, я сидела рядом с выложенными колесом овощами. Я молчала, ожидая, чтобы она заговорила первой. Она ежилась, как будто от холода, хотя стояло лето и на кухне было тепло.

— С завтрашнего дня ты начнешь работать у них служанкой. Если будешь справляться с работой, тебе будут платить восемь стюверов в день. Жить будешь у них в доме.

Я поджала губы.

— Не смотри так на меня, Грета, — сказала матушка. — Что делать — отец ведь ничего не зарабатывает.

— А где они живут?

— На Ауде Лангендейк.

— В квартале Папистов? Они что, католики?

— Тебя будут отпускать домой на воскресенье. Они на это согласились.

Матушка взяла пригоршню репы, прихватив при этом немного капусты и лука, и бросила их в кипящую на огне кастрюлю. Старательно выложенные мной овощи смешались в кучу.



Я поднялась по лестнице к отцу. Он сидел перед окном чердачной комнаты, подставив лицо солнцу. Его глаза уже не различали ничего, кроме солнечного света.

Раньше отец был художником по изразцам, и с его пальцев до сих пор не смылась въевшаяся в них синева. Синей краской на белых плитках он рисовал купидонов, девушек, солдат, корабли, детей, рыб и животных... Потом глазуровал и обжигал плитки, и они шли на продажу. Но однажды печь для обжига взорвалась и лишила отца и зрения, и средств к существованию. И ему еще повезло — два человека от взрыва погибли.

Я села рядом с отцом и взяла его за руку.

— Знаю-знаю, — сказал он, прежде чем я успела раскрыть рот. — Я все слышал.

Потеря зрения обострила его слух.

Мне не приходило в голову слов, в которых не звучал бы упрек.

— Прости меня, Грета. Мне хотелось бы обеспечить тебе лучшую жизнь. — Ямы, где раньше были глаза отца и где доктор сшил ему веки, были исполнены печали. — Но он добрый человек. Он будет с тобой хорошо обращаться.

Про женщину он ничего не сказал.

— Откуда ты это знаешь, отец? Ты с ним знаком?

— А ты разве не узнала его?

— Нет.

— Помнишь картину, которую мы несколько лет назад видели в ратуше? Ее купил Ван Рейвен и выставил на всеобщее обозрение. Это был вид Делфта со стороны Роттердамских и Схидамских ворот. Помнишь, там было огромное небо, которое занимало большую часть картины, а на некоторых домах сверкали отблески солнца?

— И художник добавил в краски песка, чтобы кирпичи и крыши казались шероховатыми, — подхватила я. — А на воде лежали длинные тени. И на берегу он нарисовал несколько крошечных человечков.

— Правильно.



Выражение его лица было такое, словно у отца все еще были глаза и он опять глядел на картину.

Я хорошо ее помнила. Помнила, как подумала, что стояла на этом месте столько раз и никогда не видела Делфт таким, каким его нарисовал художник.

— Так этот человек был Ван Рейвен?

— Патрон? — Отец усмехнулся. — Нет, детка, это был не Ван Рейвен. Это был художник — Вермеер. Йоханнес Вермеер с женой. Ты будешь убирать его мастерскую.



К тому, что я собрала с собой, матушка прибавила запасной чепец, воротник и фартук — чтобы я каждый день могла, выстирав один, надеть свежий и всегда выглядела опрятной. Еще она дала мне черепаховый гребень в форме раковины, который принадлежал еще моей бабушке и который совсем не подобало носить служанке, а также молитвенник, чтобы я защищалась молитвами от окружающего меня католицизма.

Собирая меня в дорогу, она объяснила, каким образом я получила место у Вермееров.

— Ты ведь знаешь, что твой новый хозяин — глава гильдии Святого Луки.

Я кивнула, пораженная, что попаду в дом такого известного художника.

— Так вот, гильдия старается заботиться о своих нуждающихся членах. Помнишь, как к нам каждую неделю приходили со специальным ящичком и твой отец делал взнос? Эти деньги идут на помощь таким, какими теперь стали мы. Но их не хватает на жизнь, особенно сейчас, когда Франс учится ремеслу и ничего не зарабатывает. У нас не было выбора. Помощие на бедность мы принимать не хотим — пока способны перебиваться без него. Когда отец узнал, что твоему новому хозяину нужна служанка, которая убиралась бы в его мастерской, ничего не сдвигая с места, он предложил, чтобы они взяли тебя. Он думал, что Вермеер, который, как глава гильдии, хорошо знает о нашем положении, захочет помочь.

Из всего, что она наговорила, я не поняла одного:

— Как же можно убирать комнату, ничего не сдвигая с места?

— Конечно, тебе придется передвигать вещи, но надо будет придумать, как поставить их на то же самое место, чтобы казалось, будто ничего не трогали. Как ты делаешь для отца.

После того как отец ослеп, мы научились класть вещи всегда на одно и то же место, чтобы ему было легко найти то, что нужно. Но одно дело — раскладывать вещи для слепца, и совсем другое — для человека с зорким взглядом художника.



После ухода Вермееров Агнеса не сказала ни слова. Она молчала и когда мы легли с ней спать, хотя и не повернулась ко мне спиной. Она лежала, глядя на потолок. Когда я задула свечу, стало совсем темно и мне не было ее видно. Я повернулась к ней:

— Ты же знаешь, что я не хочу уходить из дома. Но приходится.

Молчание.

— Нам нужны деньги. Отец не может работать, и им неоткуда взяться.

— Подумаешь, деньги — восемь стюверов в день.

У Агнесы был сильный голос, словно ей заплело паутиной горло.

— Хоть на хлеб хватит. И еще можно будет купить кусочек сыра. Это не так уж мало.

— Я останусь совсем одна. Сначала Франс ушел, теперь ты.

Когда в прошлом году Франс поступил в учение на керамическую фабрику, Агнеса расстроилась больше всех, хотя раньше они непрерывно ссорились. После его ухода она долго ходила скучная, словно на всех обидевшись. Она была младшим ребенком в семье и не помнила времени, когда бы в доме не было нас с Франсом. Теперь ей было десять лет.

— Но у тебя останутся матушка с отцом. И по воскресеньям буду приходить я. Да и уход Франса не был неожиданным.

Мы давно знали, что, когда Франсу исполнится тринадцать лет, он поступит на фабрику. Отец давно копил деньги на его обучение. Он без конца говорил о том, как Франс выучится ремеслу и как они вместе откроют фабрику.

Теперь отец сидел у окна и никогда не говорил о будущем.



После несчастного случая с отцом Франс пришел домой на два дня. И больше не приходил. Я видела его только однажды — когда сама пошла к нему на фабрику на другой конец города. У него был усталый вид и на руках виднелись следы ожогов: ему приходилось вытаскивать плитки из печей после обжига. Он рассказал мне, что работать приходится от зари до позднего вечера и иногда он так устает, что у него даже не остается сил поесть. «Отец не говорил, что мне придется так туго, — сердито пробормотал он. — Он всегда рассказывал, как много узнал во время обучения».

— Наверное, так оно и было, — отозвалась я. — Он стал мастером.



Когда я на следующее утро собралась уходить, отец вышел на порог, держась рукой за стену. Я обняла матушку и Агнесу.

— Ты и не заметишь, как придет воскресенье, — сказала матушка.

А отец вручил мне что-то завернутое в носовой платок.

— Это тебе в память о доме, — сказал он. — И о нас.

Я развернула платок. Это был его самый любимый изразец. Большинство плиток, которые он приносил домой, были бракованными — с отколотым уголком или криво обрубленными краями. Или с нечеткой картинкой из-за перегрева. Но эту отец сделал специально для нас. На ней была незатейливая картинка — мальчик и девочка. Они не играли, хотя обычно детей на изразцах рисовали играющими. Они просто шли рядом — как мы, бывало, гуляли с Франсом. Отец явно имел в виду нас, когда разрисовывал эту плитку. Мальчик, шедший немного впереди девочки, обернулся что-то ей сказать. У него было озорное лицо и встрепанные волосы. У девочки на голове был капор, надетый, по-моему, не так, как носили капор девушки постарше — завязав его концы под подбородком или позади на шее. Я носила белый капор с широкими полями, который полностью закрывал волосы. Капор был жестко накрахмален, потому что я кипятила его с картофельными очистками, а широкие поля свисали по сторонам от лица, так что никому не удалось бы увидеть мое лицо в профиль.

Я пошла по улице, держа в руке передник, в который были завязаны мои вещи. Было еще

рано — соседи поливали из ведер крыльцо и тротуар перед своими домами и старательно отдраивали грязь. У нас теперь это придется делать Агнесе. И ей достанется много другой работы по дому — той, которую делала я. У нее будет меньше времени для игр на улице и возле каналов. Так что ее жизнь тоже изменится.

Соседи здоровались со мной и с любопытством смотрели мне вслед. Ни один не спросил, куда я направляюсь, и не сказал утешительного слова. Им незачем было спрашивать — они знали, что происходит в семье, когда отец становится инвалидом. Потом они посудачат между собой: Грета нанялась в служанки, дела у них плохи. Но они не будут злорадствовать. Такое может случиться с любым.

Я ходила по этой улице всю свою жизнь, но впервые почувствовала, что ухожу из отцовского дома навсегда. Когда я завернула за угол и моим родным больше не было меня видно, мне стало немного легче: я шла более твердым шагом и смотрела по сторонам. Утро было прохладное, небо лежало над Делфтом как серо-белая простыня. Летнее солнце еще не успело ее разорвать. Канал, вдоль которого я шла, был как чуть тронутое прозеленью зеркало. Когда солнце поднимется выше, вода в канале потемнеет и примет цвет мха.

Мы с Франсом и Агнесой часто сидели на берегу канала и бросали туда камешки и палочки, однажды бросили разбитую плитку, воображая, как они опускаются на дно, задевая не рыб, а созданных нашим воображением

тварей со множеством глаз, плавников и щупалец. Самых интересных чудовищ придумывал Франс. Агнеса же больше всех пугалась его выдумкам. Обычно игру останавливала я, потому что мне было свойственно видеть жизнь как она есть и трудно было придумывать что-то, чего быть не могло.

По каналу плыло несколько баркасов, направляющихся на Рыночную площадь. Но это было совсем не то, что в воскресенье, когда канал кишел разными судами, так что не было видно воды. Один из баркасов вез рыбу на рыбные ряды возле Иеронимова моста. У другого борта опустились почти вровень с водой — на нем везли кирпичи. Человек, управлявший этим баркасом, поздоровался со мной. В ответ я только кивнула и наклонила голову, чтобы скрыть лицо оборками чепца.

Я перешла через канал по мосту и повернула на широкую Рыночную площадь, где было уже полно народу. Одни шли в мясной ряд за мясом, другие — в булочную за хлебом, третьи несли вязанки дров взвешивать в весовую. Было много детей, которых прислали за покупками родители, подмастерьев, выполняющих поручения хозяев, служанок, покупающих продукты для дома. По камням грохотали колеса телег. Справа виднелась городская ратуша. У нее был позолоченный фасад и арки над окнами, с которых смотрели вниз белые мраморные лица. Слева стояла Новая церковь, где меня крестили шестнадцать лет на-

зад. Ее высокая и узкая башня напоминала мне птичью клетку. Отец однажды повел нас, детей, на смотровую площадку. Я никогда не забуду открывшуюся мне сверху панораму Делфта. Каждый узкий домик с крутой красной крышей, каждый зеленый канал и городские ворота, крошечные, но отчетливые, навсегда запечатлелись в моей памяти. Помню, я спросила отца, все ли голландские города выглядят одинаково, но он этого не знал. Он никогда не бывал в другом городе, даже в Гааге, до которой можно было дойти пешком за два часа.

Я пошла через площадь. В ее центре булыжники были выложены в виде заключенной в круг восьмиконечной звезды. Каждый ее луч указывал на разные районы Делфта. Мне эта звезда представлялась центром города и центром моей жизни. Мы с Франсом и Агнесой играли внутри этой звезды с тех пор, как достаточно подросли, чтобы бегать на Рыночную площадь. Нашей любимой игрой было выбрать луч звезды и назвать какой-нибудь предмет — аиста, церковь, тачку, цветок — и бежать в направлении луча в поисках этого предмета. Таким образом мы познакомились почти со всем Делфтом.

Но в одном направлении мы не ходили никогда — в квартал Папистов, где жили католики. Дом, в котором мне предстояло работать, был всего в десяти минутах от моего родного дома — на дорогу ушло бы не больше времени,



чем требуется, чтобы вскипятить чайник. Но я там никогда не бывала.

Я не знала ни одного католика. Их вообще в Делфте было мало. И они никогда не ходили по нашей улице и не заходили в наши магазины. Не то чтобы мы их избегали — просто они держались особняком. Их терпели в Делфте, но им не рекомендовалось выставлять свою веру напоказ. Так что католики отправляли свои службы незаметно, в зданиях, которые снаружи и не были похожи на церкви.

Моему отцу приходилось работать с католиками, и он говорил, что они ничем не отличаются от нас. Они любят выпить и закусить, петь песни и играть в карты. Можно было подумать, что он им завидовал.

Теперь я пошла в направлении, куда указывал луч звезды, которого мы всегда избегали. Я шла медленнее всех — так мне не хотелось идти в незнакомое место. Я перешла по мосту через канал и повернула налево по улице Ауде Лангендейк. Канал шел слева параллельно улице, отделяя ее от Рыночной площади.



Около дома, стоявшего на пересечении Ауде Лангендейк с Моленпортом, на скамейке рядом с раскрытой дверью сидели четыре девочки. Они сидели по росту, начиная со старшей, которая, видимо, была ровесницей Агнесы, и кончая малышкой лет четырех. Одна из

девочек, сидевших посредине, держала на руках младенца месяцев десяти, который, наверное, уже умел ползать и скоро начнет учиться ходить.

«Пятеро детей! — подумала я. — И еще один на подходе».

Старшая сестренка выдувала мыльные пузыри через створчатую раковину, пристроенную к концу полой трубочки — примерно такой же, какую для нас сделал отец.

Остальные девочки вскакивали и хлопали ладошками по пузырям. Девочке, на коленях которой сидел ребенок, было трудно подпрыгивать, и она редко попадала по пузырю, хотя и сидела рядом со старшей. Малышка на краю была дальше всех, и ей не доставалось вообще ни одного пузыря. Та, что сидела рядом с ней, была самой быстрой: она носилась за пузырями и почти всегда успевала их прихлопнуть. У нее были самые яркие волосы из всех четырех сестер, похожие на кирпичную стену, возле которой они сидели. У младшей и у той, что держала на коленях ребенка, волосы были светлые и кудрявые, как у их матери, а старшая пошла в отца и была шатенкой.

Я смотрела, как ярко-рыжая девочка прихлопывала пузыри, прежде чем они успевали опуститься на диагонально уложенные перед домом серые и белые плитки. Да, на тебя будет нелегко найти управу, подумала я.

— Старайся прихлопнуть их до того, как они опустятся на плитки, — сказала я, — а то их придется мыть еще раз.